

Владимир ХОЛКИН

УХОД ИЛИ ПОБЕГ

Заметки вслед

Ищут себе уединения
В глуши, у берега моря, в горах.
Вот и ты об этом тоскуешь.
И все же все эти желания наивны,
Когда можно пожелать только
И сей же час удалиться в самих себя.

Марк Аврелий

Статья Ирины Сураат «Творить жизнь (Сюжет „ухода“ у Пушкина и Толстого)» вышла в свет в 2017 году в составе книги автора «Человек в стихах и прозе»¹. И хотя речь в ней идет о классическом периоде и классических же персонажах русской интеллектуальной жизни, представляется, что текст и экзистенциальный смысл этой работы своевременны и открыты для раздумий. Основная же проблема статьи по праву предполагает обстоятельный разбор ее магистрального сюжета и содержательный разговор о самом ее предмете. Однако, несмотря на историко-литературную конкретность, смысловое его понимание позволяет говорить о проблеме толкования фундаментальных смыслов быта и бытия человека как субъекта собственной жизни. Иными словами, проблеме Присутствия или, если угодно, — Соприсутствия человека и мира: существенного пребывания «внутреннего человека» в себе и особенностей его пребывания вовне. Сложных препятствий в рельефе души, что возникают во взаимоотношениях глубин «человека внутреннего» с поверхностью «человека внешнего». Трудностей, зачастую этически неразрешимых (как в случае Толстого) или трагически безвыходных (как в случае Пушкина).

Необходимое пояснение в скобках. По исчерпывающе простому, глубокому слову философа Григория Сковороды состав личности человека суть «человек внешний», «человек внутренний» и «человек вышний».

Именно поэтому размышления автора статьи приобретают иной, более общий смысл. Представляется, что речь может вестись не столько о видимых причинах складывания «сюжета ухода» или об этических затруднениях воспитанного ума, сколько о глубинном истоке самого его возникновения. А именно — о философской проблеме ведущей

Владимир Холкин — литературовед, прозаик, критик. Статьи и проза публиковались в журналах «Нева», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Континент», «Наше наследие», «Новый мир», «Октябрь», «Зинзивер», «Русская литература» и научных сборниках. В круг интересов входят творчество Гончарова, жизнь и судьба В. К. Кюхельбекера и позднее творчество Чехова. Автор книг «Действующее лицо. Об одном современном портрете Пушкина», «Александр Блок: двенадцать персонажей одной души», «Илья Обломов: жизнь вопреки...», «Жизнь как „роман существования“».

¹ И. З. Сураат. Человек в стихах и прозе. М.: ИМЛИ РАН, 2017.

роли заботы в жизни личности. Заботы о мирном — без уступок и натиска — ладе между жизнью бытовой и существованием сокровенным. В отчаянии же достичь такого лада и согласия — защиты «внутреннего человека» перед напором «человека внешнего», заботы отстоять его для жизни в себе «человека высшего». А в трагическом пределе интеллектуального одиночества — попытке ухода или побега.

И все-таки первоначально — в труде создания устоя и порядка взаимовлияний повседневной жизни и экзистенциального бытия. Поиска пути желанного меж ними равновесия как основы и полноты «жизни человеческого духа». Усилий вызволения из сумятицы беспутья и постава въявь гармоничной связи Присутствия и Смысла. Или, как определяет подобное духовное событие Толстой в письме к Фету, постоянных усилий «разумения». Иными словами, автор ставит своей задачей понять исток тревоги внутреннего существования героев своего исследования. И, как следствие, — разрешения ими проблемы выбора внутреннего пути, в случае же неудачи — импульсивно страстного или сосредоточенно обдуманного желания ухода. Предельно возможного удаления от «человека внешнего» — в Оптину ли пустынь, «в обитель ли дальнюю», но — равно — «удаления в самих себя». При том, что источник тревоги и у того и другого проистекает из жизни обыденной, однако смыслы такой тревоги существенно меж собой разнятся. У Пушкина — это повседневная тревога последних лет, растущая из насущной тоски. Тоски внезапного разлада между живой внутренней гармонией и тяготой домашнего, семейного и супружеского быта. Вкупе с равнодушным царским призором и оскорбительной зависимостью от камер-юнкерского «маскарада»: «...я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутком не буду и у царя небесного». У Толстого же природа тоски восходит не только к досадливой тоске непонимания миром домашним, но и нервного раздражения непониманием миром большим. Мирами, что живут и думают «не по его».

Последнее, шутливое, но меткое замечание о Толстом принадлежит Чехову (Бунин. «О Чехове»). Замечание касается скрытых причинах постоянного «ухода» Толстого от мира общепринятых истин к иной правде, правде «внутреннего в себе человека». Хотя напрямую относится лишь к одному из сугубых слагаемых толстовского миропонимания. А именно к раздраженному неприятию барочной стилистики и поэтики Шекспира, что «пишет не по его». Однако слагаемое это зорко определяет и явную особенность суммы.

В статье же «Творить жизнь» внятно исследуются не столько причины, сколько смыслы «сюжета ухода» в судьбе и трудах Пушкина и Толстого. Основания мотивов «ухода» каждого из ее героев и желания или попытки его осуществления. Исследуется в том числе на материале притчи английского проповедника и писателя XVII века Дж. Беньяна «Путь паломника» (в более раннем переводе — «Путь пилигрима») и ее влияния на содержание и смысл двух стихотворений Пушкина и творческих записей Толстого. Конкретнее же, на пафос стихотворений Пушкина «Пора, мой друг, пора...», в котором преобладает желание уединения и покоя, и на сюжет более решительно «Странника». Мотив последнего взят поэтом из упомянутой притчи, повествующей о побеге не только «замышленном», но и состоявшемся. Состоявшемся, правда, в последовательном и завершенном сюжете сновидения. Другим основным предметом исследования являются дневниковые записи Толстого о давно чаемом духовном странничестве и одиноком покое. Записи, предваряющие и толкующие давнее (экзистенциальное и житейское) решение оставить дом ради уединения в духе. В том числе записи о многочисленных попытках мысли писателя воплотить решение в поступок. И в конце концов его тайно обнаружить. Обдуманно ступить в само событие ухода — со спокойной отвагой испытав переживания неведомых покуда последствий.

Сурат пишет: «И Толстой и Пушкин в какой-то момент взрывают свои внешние обстоятельства мощными освобождающими поступками, и это обоих приводит к гибели»². Обоснованием для такого сведения судеб и сравнительного их исследования служит в статье сопоставление воздействия (или близкого влияния) на каждого из них христианского духа пространного сочинения Дж. Беньяна. Воздействия и влияния, сыгравшего важную роль в психологически безысходный период жизни как Пушкина, так и Толстого. Однако и такое воздействие, и такое влияние на этическую мысль и того и другого слишком меж собой разнятся, чтобы не отразить особенности связи «внутреннего» и «внешнего» человека в личности каждого. Прежде всего особенности напряжения. Разнятся они, в частности, и житейски, и лично; несхожи как идейно, так и творчески (замечательно, что поздний Толстой, с пренебрежением относясь к пушкинским стихам: «дребедень», радовался всякой встрече с пушкинской прозой). Толстой, придя к «Божескому» и убедившись в его благодати как единственной в судьбе человека, из последних сил старается убедить в правоте такого «пути жизни» своих домашних, прежде всего жену, с ее — по слову самого писателя — «небожеским». Усиливается вызволить их из «небожеского» и увлечь на путь этически подлинный и духовно верный. Но терпит поражение. И, смиряясь с бесплодностью усилий, приходит к сознанию спасительного, убежденно принимаемого одиночества. И уходит, пытаясь напоследок скрыться в жизни наедине с Богом.

И статья событие такого осознания и действительной попытки его осуществления определяет. Определяет психологически внятно — как поступок «разумения», что заключил собой жизненный и духовный путь Толстого. Причина: разлом и крушение супружеских и, в целом семейных отношений, порожденных мучительным обострением проблем, прежде всего — духовных и этических. Безответность вопросов, так и не нашедших разрешения в споре с женой о «Божеском и небожеском» в розной и шумной жизни яснополянского Дома. И вместе с тем: «Импульс ухода из семьи, — пишет далее Сурат, ставя психологическое ударение иначе, — коренится не в семейных неурядицах и минутных слабостях Толстого <...> и не в „синдроме беглеца“, а в тех глубинных и важных вопросах, которые с момента внутреннего перелома вели Толстого по „пути жизни“». Соглашаясь с этой посылкой в целом, думается, что она требует некоего толкования, философского примечания и разбора. А именно — разбора трех последовательно меж собой связанных и, для личности Толстого важных проблем: проблемы выбора, проблемы понимания себя и другого и, наконец, проблемы нравственной цены и этической платы за их решение.

Иное у Пушкина. Так, в самом начале своей статьи, не соглашаясь с автором книги «Уход и смерть Льва Толстого» Б. С. Мейлахом, утверждавшим, что «аналогия (между мотивами ухода у Пушкина и Толстого. — В. Х.) не нуждается в комментариях», исследователь справедливо пишет: «Между тем, эта аналогия, внешне очевидная, как раз нуждается в самом вдумчивом комментарии. Первые вопросы лежат на поверхности: «обитель дальняя трудов и чистых нег», в какую устремил свой бег героя пушкинского отрывка (стихотворения „Пора, мой друг, пора...“. — В. Х.), — разве не похожа она на тот самый яснополянский рай, из которого с такой бесповоротной решимостью бежал яснополянский старец?»³ И далее раскрывает подспудные смыслы и утаенные подробности этого усталого стихотворного восклица к самому себе, цитируя рукопись и черновой план этого незавершенного стихотворения: «... поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь — религия, смерть». Продолжая свое исследование, Сурат сопоставляет этот пушкинский план с несколькими цитатами из писем и дневников Толстого и задается решающим вопросом: «<...> какой

² И. З. Сурат. Человек в стихах и прозе. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 50.

³ Там же. С. 31.

глубинный импульс вдруг выталкивает человека (героя или автора) из привычной жизненной колеи и гонит его в «обитель дальнюю» или, как у Толстого — в полную неизвестность»⁴. И нам кажется, что один из предполагаемых ответов можно отыскать, например, в письме самого Толстого П. С. Степанову 4–5 июня 1886 года. «<...> причина недовольства в вас самих и средство избавления от него только в вас самих. Перемена места, условий, я думаю, не только не содействует внутренней перемене, но мешает ей, *заставляя принимать внешнюю перемену за внутреннюю*» (курсив мой. — В. Х.)⁵.

Стремлением уяснить и сопоставить неурядицы в отношениях «внутреннего» и «внешнего» миров как Пушкина, так и Толстого статья Сурат в преобладающей мысли и занята. Однако представляется, что внутри темы сопоставления кроется еще одна. Болезненная для обоих писателей тема интеллектуальной честности — как в творческом деле, так и в духовном его осознании. Честности, повторим, происхождения духовно-этического у Толстого и трагически экзистенциального у Пушкина. Честности, испытываемой в условиях тягот связей-разрывов творческих и житейских событий, что происходят в жизни героев статьи. Честности, что правдиво мерит глубины переживания «внутренним человеком» этих тягот. При том, что, аналитически толкуя такие связи-разрывы, автор близко подходит к коренной мысли бытия личности, подробно, однако, ее не развивая. Дело же идет о невозможности вопрошаемого совестью человека примирения с самим собой. Совестью — единственной, обостренно чувствительной для развитой личности — точкой Бога, селящейся внутри души. Иначе говоря, вместе со строгим упорством самости, еще и опорой верности себе — важной посылкой «внутреннего человека» в его спорах с «человеком внешним». Особенности, что намечают путь их фатального движения к резким переменам духовной судьбы и к драме индивидуальной свободы.

Плодотворность смыслов и положений статьи «Творить жизнь» и размышления автора о драматической природе своих героев, что основательно укоренены и в неложном знании особенностей жизни Пушкина и Толстого: все это создает вероятность продления их на смыслы сочинений и положения судеб других русских писателей.

Но прежде — несколько предварительных слов. В истории литературы «сюжет ухода» — сюжет давний и устойчивый. В своем напряженном (а для иного героя или его создателя — и безостановочном) движении от истока до исхода такой сюжет нередко является стержнем литературного произведения. Или, наоборот, тугим, лишь разрубаемым узлом трудностей внутренней (смысловой и содержательной) философии жизни героя. А то и стойким побуждением, что движет его путем основной мысли (случай Гамлета, Дон Кихота или добровольно «замышленное» уединение идейно близкого тому же Толстому — Генри Торо, а то и уединение невольное, приведшее героя к этическому и духовному преображению — случай Робинзона Крузо). В тесной связи с путем подобной неуклонности, путь «сюжета ухода» обнаруживает себя и в двоящейся тоске мысли и жизни Пушкина, и в двойственности существования Толстого: неистовом недовольстве жизнью и пытливой работе мысли. Когда в состоянии конечного предела отчаяния и неодолимой решимости пройти до конца — сюжет этот выручается именно таким исходом. Выручается как трагически парадоксальный акт в жизни личности иной, что, не будучи в силах изменить своему «внутреннему человеку», страдает от требований «человека внешнего». Страдает в тесноте круга обыденной жизни, мучительно переживая неполноту беспрестанно занятой этой теснотой мысли.

⁴ И. З. Сурат. Человек в стихах и прозе. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 33.

⁵ Л. Н. Толстой. Юбилейное собрание сочинений. Письма. Т. 63. С. 363.

Иначе говоря, поступок «ухода» или «побега» оправдывается усилием поступка верности себе. Усилим, что движет смысл призвания героя к цельному осуществлению себя. Смысл основной, но до времени самому герою еще не вполне внятный. Однако, будучи добыт желанием и трудным опытом и отыскан как действенный мотив такого осуществления, смысл становится податлив на пути к размышлению и пониманию. Добытый же и понятый признается окончательным и уже без колебаний освоенным. О подобном событии души — свершающимся, правда, не вслед умозрительному желанию или труду, а вслед постоянному думанью как естественному состоянию жизни — осознанно сказалось у Толстого в таком слове: «Трудно. Главное трудно потому, что нельзя сделать этого нарочно, что надо привести себя к такому состоянию, в котором не можешь не сделать»⁶. А потому, уже как необратимо верный, смысл этот действует решительно и напрямую — через «сюжет ухода». Иным словом, найденный и обретенный, действует вслед (вспомним Пушкина) «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Именно это свойство «сюжета ухода» — вобрать, впитать в себя смысл, чтобы после воплотить его емко и уверенно — дано Пушкиным в строках: «...на свете счастья нет, но есть покой и воля... давно, усталый раб, замыслил я побег...» Что потом почти дословно повторится в «Страннике»: «Как раб, замысливший отчаянный побег».

Однако в отличие от замысла сам «сюжет ухода» основался и встал к Пушкину вплотную уже в 1831 году. Встал скоро и неожиданно. Ибо несколько тяжелых «нарушений жизни», его породивших — с которыми до поры можно было совладать порознь, — однажды сошлись воедино. Сомкнулись, чтобы уже не размыкаться: тема экзистенциальной честности обернулась проблемой чести. И тогда «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», Пушкин приноравливается жить нарушенной, несвободной жизнью. Пытаясь совладать с жизнью бесприютной, замкнутой кольцами женитьбы, семьи, долгов, цензуры государя и оскорбленной чести, он печально и обреченно иронизирует над собой, без покорности смирявшимся. Поэтому столь драматически выразительно звучит четверостишие 1836 года: «Забыв и рошу, и свободу, / Невольный чижик надо мной / Зерно клюет и брызжет воду, / И песню тешится живой». Так «внешний человек» заслоняет собой «человека внутреннего». Заслоняет, угнетает, горько насмешничает, но и посылно утешает. Однако примирить с судьбой этот уже обреченный на гибель «внешний человек» не в силах. И здесь нелишнее будет вспомнить еще одну мысль Толстого из той же записной книжки. «Судьба от человека или человек от судьбы? Чем больше живешь для души, тем меньше судьбы, и наоборот». И на следующей странице: «У каждого есть незатрогиваемые противоречия. Чем они больше, тем тяжелее жизнь»⁷.

Для Толстого «остановка жизни» — время понимания души и признания смысла ее труда и движения, время решения ответа на вопрос «Зачем?». И здесь «внешний человек», хотя и ценой семейного разлада, побежден, но не бессилён: «Как все трудно, когда полагаешь все беды вне себя, и как все легко, когда поймешь, что все в тебе»⁸. И поздний Толстой успешно — во время «остановки жизни» — такого понимания достигал. Пушкин же, полагая «все беды вне себя», на «остановку жизни» — в «толстовском» ее изводе — или понуждении духа к такому усилию — не в силах согласиться. Не видит в ней того глубокого и простого этического смысла, которого разыскал Толстой. Ибо на вопрос «Зачем?» он в «Египетских ночах» уже ответил: «Зачем крутится ветер в овраге? <...> Затем, что ветру, и орлу, и сердцу девы нет закона. Таков и ты, поэт». Однако был закон, который Пушкин чтит неуклонно. Это закон чести: чести слова,

⁶ Л. Н. Толстой. Юбилейное собрание сочинений. Записная книжка 1903—1904 гг. Т. 90. С. 182.

⁷ Там же. С. 184.

⁸ Там же. Листы из записной книжки 1908 года. Т. 90. С. 211.

чести долгов, чести достоинства, чести жены и семьи. Хотя, быть может, и желал бы однажды остановиться, оглянуться, осмыслить. Или — по Лермонтову — обессилев, «забыться и заснуть». Отсюда и желание насущных «покоя и воли», коли «на свете счастья нет».

Побег «от чего» и «куда» — вопросы Пушкина; уход «от кого» и «зачем» — вопросы Толстого. Однако сближаются и сходятся эти вопросы, почти совпадая в теме греха. В вопросе, решаемом, впрочем, по-разному. К рассуждениям Толстого обратимся позже, разве что упомянем одну дневниковую, толкующую о средствах духовного исцеления: «От греха самоотречение, от соблазна смирение, от суеверия правдивость»⁹. И на этом же листе читаем: «Подумай, что ты безгрешный и нет жизни...»¹⁰ Что же до житейских и душевных проблем Пушкина, то, скоро и настойчиво совмещаясь, они вводят в поле совести проблему бытийную. Одной из важнейших долей которой является тема бегства от греха. «Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам.../ Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, / Голодный лев следит оленя бег пахучий». Это было написано в 1836 году. (Замечу в скобках — «к сионским высотам» с большим этическим основанием и последовательно сознательной настойчивостью торопится от времени до времени уйти Толстой. Уйти не «напрасно».)

Это обдуманно исповедное признание Пушкина многозначительно. Ибо здесь в многих словах туго свернут трагический опыт сомнения. Иначе говоря, когда были нарушены коренные взаимоотношения Присутствия и Соприсутствия, то без греха, без нарушения порядков жизни выправить ее искаженные условия представляется неподъемным. А для Пушкина, человека дерзкого и витального, такое восприятие условий жизни организует та самая реальность, что вынуждает либо к смирению, либо к бунту. Иными словами, в этом стихотворном признании — итог столкновения внутреннего и внешнего, прямое явление проблемы существования. Ведь до поры существование Пушкина-человека воплощалось лишь вслед «человеку внутреннему». Однако попечение судьбы прервалось, когда «внешний человек» принялся настаивать на своем и уже вскоре одолевает, а там и преобладать над «внутренним». Здесь бы и понадобилась «остановка жизни». Но судьба распорядилась и повелела иначе: Пушкин жил не останавливаясь. Сначала своевольно, потом поневоле.

Поэтому и кажется, что к многочисленным письмам Пушкина (в том числе и к черновым их вариантам) уместен был бы не только обстоятельный реальный комментарий (как это безукоризненно сделано Л. Б. Модзалевским в издании «Письма Пушкина»¹¹), но и комментарий психологический. Ведь неуклонная убыль желанных «покоя и воли», стойко державшихся в миропонимании Пушкина, за последние семь лет жизни обернулась хлопотливой настойчивостью обрести желанное, а вслед обретенному — сопутствующей ему нуждой в долгах, а после тоской и, наконец, гневным, но бессильным отчаянием. Обернулась стойко, но уже необратимо. Стоит последовательно прочитать его письма за эти годы, чтобы увидеть, насколько полны они забот о жилье, повседневных огорчений, смятения, ревности, испытаний чести, душевных метаний и настоящего горя. Как испытывают достоинство и честь мысли о непреходящих долгах и унижительные прошения о возможности начать журнал, писать историю Петра и Пугачева: все для того, чтобы снискать покровительство и заработать деньги на содержание растущего семейства. И, наконец, испытания отравляющих, язвящих переживаний, что связаны были с женой, а в отлучках с мучительной памятью ее облика и образа жизни. Переживания, истоком которых — раздражение ревностью, едва

⁹ Л. Н. Толстой. Юбилейное собрание сочинений. Листы из записной книжки 1908 года. Т. 90. С. 211.

¹⁰ Там же.

¹¹ М.: Академия, 1935.

скрытый гнев чести, наставления в попытке направить ее домашнее и светское поведение. (Притом, замечу в скобках — не чувствовать, какие перемены ждут его после жень-тубы, не представлять и не думать об этом Пушкин не мог — см. письмо к П. А. Плетневу, 31 августа 1830 года.) Характерна для такого состояния позднейшая горькая шутка, которой он обмолвился в одном из писем жене: «Стихов твоих не читал, черта ли в них, свои надоели».

Возвратимся, однако, к одному из «надоевших» стихов, к пушкинскому «Страннику». Вглядываясь в него, понимаешь, что герой его в вожатом не нуждается, он пускается в побег из нестерпимой, лишённой вольности чувств и свободы мысли обыденности, пускается в одиночку. Его случайно выручает лишь случайная (именно случайная) встреча с читающим книгу юношей, встреча случая, удобного судьбе. Ибо числит он себя всего лишь «рабом, замыслившим отчаянный побег»; слепцом, прозревающим отнюдь не вдохновенно, а болезненно. Герой стихотворения — это «внутренний человек», изнемогший под гнетом «человека внешнего»; человек, тягостно переживающий разрыв их ладного соприсутствия, и, главное, человек, обреченный на непонимание как ближних, так и дальних. На первый взгляд кажется, что стихотворение толкует о похожей на толстовскую «остановке жизни». Однако у Пушкина — это внезапная, не зависящая от героя остановка на бегу — остановка не для долгих раздумий и неторопливых решений о дальнейшем верном пути, а отчаянная попытка отыскать «обитель дальнюю». Он обходится без «остановки жизни», ему некогда, он «жить торопится и чувствовать спешит». Для «остановки жизни» он запоздал. Как запоздал и для той — «покой и воля» — жизни, что с некоторых пор оказалась нарушенной. Нарушенной настолько, что ее замкнутый в круге неурядков бег остановиться уже не позволял.

Для Толстого вопрос о «счастья нет...» — это вопрос об отсутствии «семейного счастья», которое — будь оно, — скорее всего, мешало бы ему достигнуть сопряжения «покоя» и «воли». Ибо возможность и необходимость «остановки» среди тягот «не по его» слаженной семейной жизни и есть для него проявление счастья. Счастья думанья, счастья мыслить, счастья оставаться верным «внутреннему-в себе-человеку». При том, что это не судорожная оторопь, истерика и умышленность «последних вопросов», как у Достоевского, а неспешная, размеренная мысль, вырастающая из насущного, из раздумий над ним. Ибо это и есть для Толстого счастье предельной искренности выводов, счастья ответов на мучающие вопросы; счастье решения «ухода», наконец. Именно внутри этого сознания и кроется суть и образ толстовского «опрощения», отказ, «уход» от «многого знания» и многого слова больших художественных сочинений. Оттого, что слово ограничивает смысл, обрывает его; оставшаяся же мысль остается невысказанной, а потому и непроясненной. А незавершенная обрачивается зачастую поступком необъяснимым, странным, нелепым и... непоправимым. Именно в этих пределах жизни «внутреннего человека» возникает косвенное сопряжение толстовского признания о «незатрагиваемых противоречиях» с пушкинским императивом «я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Ведь именно переживание идейного, душевного и этического страдания, являясь Толстому в разных своих видах, стало плотью многих сочинений.

Кроме идейных и исследовательски-предметных достоинств, статья Сураат обнаруживает одну важную для разбора подобных проблем особенность. Чтение этого аналитически вдумчивого, скрепленного знанием жизни и мысли своих персонажей сочинения создает основы для плодотворных, связанных с его темой предположений. А именно: важным следствием такого чтения является, в частности, ближайшая возможность обобщить и распространить идеи и результаты наблюдений автора на разборы других сочинений русской литературы — их авторов и героев. Понять сумму

парадоксальной логики их существования и крепость опор этического смысла решений и поступков. Статья «Творить жизнь. Сюжет ухода у Пушкина и Толстого» создает вероятность иного, нерасхожего, понимания внешних черт жизни и внутреннего мышечеств таких сочинений. Внутреннего бытия персонажей и авторов. Возможность эту с удовлетворением обнаруживаешь, вникая в исследование душевных и духовных причин неустойчивости и разлома жизни Пушкина и Толстого. В исследование причин той их одержимости возвратом к «внутреннему» в себе «человеку», что учтиво названо в истории культуры (прежде всего в истории Толстого) стремлением к «уходу». Коли же сказать грубее, проще и яснее — неукротимым порывом «в побег». В «обитель» ли «дальнюю трудов и чистых нег», в одиночную ли келью святой обители Оптиной пустыни.

Или, вопреки разрыву судьбы, уходом другого русского поэта-странника на глубину чистого вдохновения, погружением в его неустанный и спасительный для души труд слова. Дело идет о Кюхельбекере, его сначала публичном и страдательном, а после и действительном одиночестве в одиночных камерах российских крепостей.

Именно такой поворот «сюжета ухода» — ухода в слово (поэтическое ли, критическое, мемуарное или дневниковое и, наконец, уход в усердно им переводимое слово Шекспира), вдохновенного ухода из надолго запертых лет — явлен в человеческой и творческой судьбе Вильгельма Кюхельбекера. Явлен сначала обидой и нелепицей с драматическим уклоном в лицейских и последующих недолгих годах жизни, где лишь косвенно и обиняком себя обнаружил. Чтобы вскоре, трагически проступая и перемежаясь, фатально воплотиться. Обернуться прямой неволей в крепостной одиночке, где вопрос о времени и пространстве ежедневно, еженощно и... ежегодно остается не столько безответным, сколько бессмысленным. Неволей, побег из которой невозможен. Однако возможен уход. И «сюжет ухода», ища состояться в горькой судьбе «внешнего человека», находит себя в мире «человека внутреннего» — в спасительном вдохновении поэта. И лишь в последние годы жизни — жизни на поселении в Сибири — такой «сюжет ухода» вынужденно обращается в едва ли не мучительный. Он уже явно в жребии поселенца преобладает, тесня поэта безжалостно и неотвратно. В предельном же случае, оборачиваясь драмой души, где разыгрываются тягостные события внутренней жизни: все чаще пропадающего вдохновения и неуклонно уходящего творчества. Творчества, что скудело, увязнув в тягостном быте, грозило быть сломленным житейской неумелостью, интеллектуальным одиночеством и обездоленным дружеством. И все-таки «сюжет ухода» — встраивая себя во вдохновение и поэтическую работу, вернее же, помогая выходу из тягот сначала прямой, а после и косвенной неволи — щедро воплотился. Значение, которое Кюхельбекер придает этому воплощению, всемерно и всеобъемлюще. Это значение истока, хода и смысла жизни. Словом, в его случае «внутренний человек» вытесняет «внешнего». Едва ли не во все и совершенно. И поэт живет, то есть творит, уже не изменяя «Сюжету». Порой лишь оглядываясь и бесплодно трудясь в попытке устроить быт, чтобы в конце концов стряхнуть тягостный морок действительности.

Проявляется это, скажем, в эсхатологической поэме «Агасфер», финальная строка которой гласит: «<...> тебе освобождение настало...» Звучит «сюжет ухода» и в переложениях псалмов Давида, и в комментариях к истории их написания, и в разужверении, которым полнится стихотворение «Измена вдохновения», и, наоборот, в радости скоро пришедшего «Возврата вдохновения». И, наконец, наиболее полно в дневниковых записях и письмах. И в важнейшем для нашей темы, стихотворным и дневниковым признанием о горькой судьбе поэта, обремененного житейскими неурядицами и семейными хлопотами, спасения от которых он ищет в противоречиво отчаянном порыве желания возвратиться в крепостную одиночку. Об этом в коротком четверостишии 1829 го-

да, написанном в крепости Свеаборг: «Веселых, умных слов не я ль искал напрасно? / Вот наступили злые дни: / За словом слово ежечасно / Без просьбы мне дают они!»¹² Об этом же откровенно в письме Пушкину, после десятилетнего заключения, уже с поселения, из Сибири: «3 августа 1836 года г. Баргузин. Ныне <...> в судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась. Дышу чистым, свежим воздухом, иду куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрипу замков, ни шепота часовых при смене: все это прекрасно, а между тем — поверишь ли? — порою жалею о своем уединении. Там я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу; здесь все не так, как ожидал даже я, порядочно же, кажись, разочарованный насчет людей <...>»¹³ И положения статьи «Творить жизнь» побуждают с новым вниманием отнестись к этому исповедно-искаженному, едва ли не безрассудно нелепому желанию поэта с доверием внять его психологической особенности и выстраданной достоверности.

Скажем от себя: причины такого разочарования в людях, и такое парадоксальное сожаление об утраченном уединении, и такая растерянность перед полной хлопот и болезней, предстоящей жизнью в ссылке не только объяснимы. Они объяснимы доступно. Объяснимы странной психологической чувствительностью этой души и неизбежностью странной судьбы, неуклонностью каждодневного «гнева судьбины» и преодолимо упорной странностью же как бытового, так и в целом жизненного и творческого поведения. Поведения человека «не от мира сего». Причины же эти — в воспоминаниях ли, в действительности ли — так и не оставили Кюхельбекера до конца дней. (Здесь к слову придется одна запись из его «Дневника узника», толкующая о смысловой разнице слов «судьба» и «судьбина»: «...слышал от Жуковского очень справедливое замечание о словах судьба и судьбина. Первое — синоним слову рок — есть сила, раздающая жребии; а второе — синоним слову жребий — есть доля, участь, достающаяся какому-нибудь человеку <...>; и их никак не должно употреблять одно вместо другого»¹⁴.)

Постепенно углубляясь в смысловые основы жизни персонажей работу Сура, видишь, в частности, и возможность иначе увидеть и героя романа Гончарова «Обломов». Увидеть и внятно обосновать семантические корни его «круга жизни». Многие непосредственные положения статьи, например, рассуждения автора о духовной неудовлетворенности Толстого, мучительно вынужденного пребывать в невротической тесноте семейного круга, подталкивают и к более пристальному исследованию психологической почвы и философии жизни Обломова. Его неуклонной веры в самость собственной души, верности стойким заповедям собственного существования и строгому упорству в отстаивании себя и своего миропонимания. Таким его составляющим, как покой, неизменно присущее размышление и упрямое неучастие во всем стороннем: «Я с бурями не управлюсь», — говорит Илья Ильич. В коротком этом признании скрыто-явлено само ядро двупланового миропонимания Обломова — отстранение и созерцание по отношению к миру, то есть равнодушие к своему «внешнему человеку» и — активно вопреки — внимательное сочувствие и сомыслие с «человеком-в себе-внутренним». В таком устройении личности, в таких ее ведущих свойствах напрямую сказывается и своеобразная психологическая динамика образа. Движение к уединению, побегу, уходу. Именно о таком событии, неуклонно происходящем внутри душевной жизни Обломова, пишет глубокий знаток и тонкий исследователь творчества писателя М. В. Отрадин. «Образ идеальной жизни, составляющей суть мечты Обломова,

¹² В. К. Кюхельбекер Избранные произведения: В 2 т. М.; Л., 1967. Т. 1. С. 217.

¹³ Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 2. С. 247.

¹⁴ В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. С. 197.

связан с мотивом бегства и уединения. Ее основные компоненты: довлеющий себе локальный мир, освобождение от внешних обстоятельств».

Важнейшим же способом выявления и воплощения одной из таких его заповедей в романе Гончарова становится событие прощального письма Обломова к Ольге. Письма об «уходе» (или — побеге?), написанного в самый канун возможной помолвки с ней. Письма исчерпывающе откровенного, искренне правдивого и поразительного по исповедальной глубине, полного зрелых рассуждений. Письма, что далось ему усилием подавления чувства и трудом не только мысли, но и души. Событие же письма определяют и загодя предшествуют ему многие размышления Ильи Ильича, приведшие в конце концов к последнему решению. Решению не импульсивному, возникшему вслед мучительной рефлексии, вслед поединку чувства и рассудка, в котором доводы рассудка, снаряженные отважным самоанализом, все же побеждают. Однако побеждают не вполне твердо, ибо любовь, несмотря на попытку прервать ее живое течение, любовь эта останется в душе Ильи Ильича навсегда. И это смятение Обломова писатель отмечает мастерски тонко — с помощью троеточия внося сообразную настроению и минуте интонацию. Интонацию нерешительности и оторопи накануне «ухода» в полный (как явится впоследствии) поворот судьбы: «Да... нет, я лучше напишу к ней, — сказал он себе, — а то дико покажется ей, что я вдруг пропал. Объяснение необходимо».

Однако предположения и выводы статьи «Творить жизнь» — мысль о несовпадении меры духовности и реальности в судьбе ее героев требуют разъяснения. Требуется рассмотреть и разрознить внутри развития идеи «ухода» (психологического, как у Пушкина, или духовно-этического, как у Толстого) три важных грани. А именно: долговременный рост последовательных и положительных оснований для мотива «ухода»; возникшее вслед мотиву настойчивое побуждение к его воплощению и, наконец, деятельное и действенное свершение события «ухода». В том числе — как в случае Кюхельбекера — «ухода» в себя, в образно-символический побег из внешне замкнутого во внутренне свободное (подобное «разумению» Пьера в «Войне и мире» о бессилии «плена» запереть «бессмертную душу») пространство. «Бессмертная же душа» Кюхельбекера принимает свою одиночную неволю, поняв ее как угодный судьбе случай, как возможность творческой воли, как парадоксально желанное «внутреннему человеку» затворничество для единственно важного: вдохновения, свободы писать и обращаться к Богу. Упомянутые же грани следует разрознить, чтобы после суметь понять в том числе и духовно-философское обоснование «ухода» (случай Толстого). Отличить его сюжет от причин той раздражающей рефлексии вокруг душевной разладицы, что вызревала в мыслях — сперва вслед разладице семейной — задолго до его прямого события. Не спутать его с настойчивым желанием освобождения и стремлением к покою через порыв именно к «беспокойному» странничеству. И важнейшее: суметь отделить стойкий замысел «ухода» и решительное стремление к цели от раздраженных порывов уйти из-за мучительного этического несовпадения с ближними. Вот дневниковая запись 1885 года: «1885. Кажется, 5 апреля. <...> Нынче. Думал о своем несчастном семействе: жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видеть истины и блага, которое обличит ложь их жизни, но и избавит их от страданий»¹⁵.

Косвенным подтверждением необходимости такого отличия и отделения может служить следующий фрагмент диалога из «Пути паломника» Беньяна, пристрастно читанного Толстым. Это отрывок разговора героя из сна рассказчика этой повести-притчи, разговора Христианина с Милосердием — одним из символических персона-

¹⁵ Л. Н. Толстой. Собрание сочинений: В 22 т. М.: Художественная литература, 1985. Дневники 1847–1894. Т. 22. С. 347.

жей, встречающих паломника на пути к Сиону. Именно во фрагменте этом и обосновывается окончательное разрешение паломником своей «темы ухода», что едва ли не подобно картине смысла и состояния самого Толстого в его этических разногласиях с домашними. При этом, однако, стоит помнить, что один из смыслов самопризнания Толстого в том, что жизнь свою он делит на «семилетия». И что особенность каждого из периодов всякий раз и непреложно исходит из очередной «смены веж». Или даже из очередного «полного поворота кругом». А потому и возможно допустить, что был он не «человеком уверенности и пути», а «человеком сомнения и перепутья». Непрестанного, не преходящего во времени перепутья.

«<...> Тогда Милосердие говорит Христианину: „У тебя есть семья? Ты женат?“ Христианин. У меня жена и четверо ребятишек. Милосердие. Почему же ты не взял их с собою? Христианин. Тут Христианин разрыдался и говорит: „Как бы я хотел их взять; но они решительно против моего странничества“. Милосердие. Но тебе следовало бы поговорить с ними и попытаться показать, сколь им опасно там оставаться (в городе, которому грозит опасность. — В. Х.). Христианин. Я говорил; я рассказал им также, что Господь мне внушил о гибели нашего города, но они решили, что я шучу, и не поверили. <...>. Милосердие. Но рассказывал ли ты им о своей скорби и страхе гибели. Ибо, полагаю, что ты видел это ясно? Христианин. Да, и много, много раз <...>; но этого было недостаточно, чтобы убедить их идти со мною. Милосердие. Но чем же они оправдывались, что не идут? Христианин. Жена боялась лишиться сего мира; а дети радовались неразумным наслаждениям юности; так что по той или иной причине, я остался в одиночестве»¹⁶.

Одиночество и уход. Именно таков «путь жизни» позднего Толстого. Уход в сосредоточение и труд души; в покой одинокой веры; в не таящуюся от себя честность исповеди, честно же явленную в слове дневника. Все это предмет едва ли не давнего, многократно нарушавшегося этическими сомнениями и страданиями его духовного претерпения. Предмет неустанного думанья и бесстрашного испытания (а порой и пытки) мыслью и — как необходимости осмысления — вдумчивой «остановки жизни». Видимым же путем такого осмысления всегда и неуклонно был для Толстого дневник. Вместе с присущим такому пути одолением порогов сомнений в поисках себя подлинного. Умением претерпеть тяготы, что сулила дорога чаяния этического совершенствования. Дорога, увиденная им еще в юности («добро — это хорошо»), что — не сразу гладко, а то из-за резких шагов и вовсе неказисто — была им прицельно выбрана. Труд мысли естественен и свободен для Толстого, что особенно внятно ощущается при чтении его дневников. Читая их, научаешься думать. Мысль является на бумаге как она есть, как возникла — неуклюжая еще, еще не отделанная. Это в дневнике. В позднейших же произведениях — публицистических ли сочинениях, моральных ли трактатах — мысль выпрямляется вслед идее, беднеет и становится жесткой. Обработывая ее для сочинения, Толстой принуждает ее идейно.

Однако в отличие, скажем, от Розанова, который в дневниках ведет мысль как ее наблюдатель, то есть мыслит о мысли. Или Стендаля, безжалостно следящего за всеми переливами собственной души и аналитически беспощадно испытывающего собственные чувства (см. «Воспоминания эгоиста» и «Жизнь Анри Брюлара»). У Толстого мысль является страстно, во всем первородном существе, не меняя ни форму, ни поэтику. Стиль, правда, упрощается, и тоже вслед идее (вспомним известную работу Толстого о точности и простоте слова у крестьянских детей). Другой случай такого упрощения — пьеса «И свет во тьме светит», где почти буквально воспроизводятся повседневные, раздраженно неприязненные разговоры с женой, не могущей понять мужа. Не столько даже не могущей или не хотящей, сколько не расположенной к понима-

¹⁶ Джон Беньян. Путь паломника. СПб.: Азбука—Аттикус, 2015. С. 85.

нию смысла его этического поведения. Ибо, по Толстому, дело идет о «Божеском» и «небожеском». В отличие от специфических особенностей ухода в «побег» Пушкина: неукротимого желания побега из неволи чести, в том числе творческой, и безысходности любовной трагедии. И, осторожно предположим, неуклонно — несмотря на его яркое, хотя и нервически взвинченное жизнелюбие — все возраставшее движение в сторону «воли к смерти».

Именно о возможности человека одолеть преткновения на «пути жизни»; о пути, что осложнен духовным бременем; о труде человека, освоившего замысел нового пути лишь после мук недоверия семьи, кризиса веры и необратимого этического перелома — об этом написана притча Беньяна. Причем о переломе внезапном, как у самого героя «Пути паломника»; или мучительно вызревавшем, как у Толстого; или, ставшем неизбежным итогом душевного отчаяния, как у Пушкина. Однако выразительной и существенной долей в целостном решении героя, в его осознанном духовном стремлении превозмочь глубокую душевную смуту, такой долей в числе основных оказываются и семейные отношения. Или, как у Толстого, отношения, безнадежно нарушенные проблемой понимания — так и не разрешенной. Проблемой понимания другого в себе и себя в другом. Или, как в случае Пушкина, предчувствием душевной неволи и житейских тягот супружества. Скажем, в упомянутом уже письме к Плетневу 31 августа 1830 года, написанному накануне венчания: «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха тридцатилетнего хуже 30-ти лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелестьях холостой жизни <...>. Так-то, душа моя. От добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан». Предчувствие той самой неволи и тягот, приведших в конце концов к трагедии безысходности, семейной катастрофе и гибели, чтобы после обратиться в душе к короткому предсмертному просветлению, смиренному покаянию и духовному преображению.

В какой мере подобное состояние жизни и тревоги духа можно предположить в Кюхельбекере — человеку ни в чем не сходного пути и судьбы? Читал ли он сочинение Беньяна? И если читал, то насколько вероятно, что чтение это могло стать событием в его духовной жизни? Прямых или даже сторонних свидетельств этому не осталось, либо (что вероятнее) они до нас не дошли, ведь судьба литературного наследия Кюхельбекера была драматична. Проблуждав во времени, оно в конце концов оказалось не только необратимо неполным, но и впоследствии разрозненным, хранящимся в нескольких разных архивах. Представить, однако, что книга эта была ему не знакома вовсе — помня слова Энгельгардта о Кюхельбекере: «читал все книги на свете», — представить это вряд ли возможно. Тем более что сочинение это стало поводом и источником стихотворения Пушкина 1835 года «Странник». Памятуя же, что за работой Пушкина Кюхельбекер — при всей скудости своих возможностей — следил пристально и тщательно, с нетерпением ожидая ее плодов в своей крепостной неволе, полностью исключить его знакомство со «Странником» нельзя. Хотя и вероятность того, что стихотворение дошло до него, крайне мала. Ведь оно впервые было напечатано лишь в 1838 году, в изданном Жуковским посмертном собрании сочинений Пушкина. Кюхельбекер же в это время находился уже на поселении в Сибири, а книги, получаемые поселенцами, приходили туда редко, шли долго и небеспрепятственно.

И все же побуждение к «уходу», осмысление самой этой идеи в Кюхельбекере созревало на протяжении всей его жизни, созревало постепенно — сначала сумбурно и хаотично как неосознанное беспокойство, а в зрелые годы, годы душевной и житейской тягости, уже как отчетливое стремление. Но «уход», по Кюхельбекеру, это — прежде всего иное — «уход» не вовне, не в мир, не в странствие и даже не в обитель,

а внутрь себя. А через такой путь, через путь вдохновения — вдохновения поэтического и духовного — к Богу. Об этом напрямую и исчерпывающе выразительно говорят несколько важных его сочинений в стихах и прозе. Об этом же с глубоким интеллектуальным волнением пишет он и в дневнике. Об этом же говорят и его последние — уже нервные и немногословные — страницы дневника, несколько поздних писем к Жуковскому с сокровенным признанием желания вновь вернуться в покой одиночки и, что еще важнее, написанное вслед последнему письму большое стихотворение. Сочинение, что полнится сетованиями на бытовое неустройство и, где подобное отчаянно парадоксальное желание выказывает его (стихотворения) лирический герой. О таком желании и стремлении свидетельствуют и подневные — сокровенной собранности — сухие и скудные записи 1845 года.

Возвращаясь к тексту и смыслу статьи Ирины Сурат, стоит сказать, что она во многом развивает и расширяет исследование темы «сюжета ухода», тонко, глубоко и стилистически совершенно решаемой в известной работе С. Г. Бочарова «Сюжет ухода у Гоголя и Толстого». Решаемой как проблема, прежде всего духовно-интеллектуальная. Продолжая исследование, Сурат, однако, сосредотачивает свое внимание на проблеме веры и праведного пути. Проблеме, обостренно существенной как для позднего Пушкина, так и, особенно, для позднего Толстого: одной из основных опор в поиске ими «остановки в пути жизни» является как раз повесть Бенъяна. Оттого и автором статьи «Творить жизнь» она тоже берется за основу истока, сопоставления и подтверждения реальности такой проблемы и ее влияния на миропонимание ее героев. О таком влиянии свидетельствует как внимательное чтение и изучение ее Толстым, так и стихотворное переложение Пушкиным начального из нее отрывка.

В связи с этим стоит отвлечься для небольшого рассуждения о становлении, укреплении и в конце концов полном воплощении человека в условиях принципиально разных способов и видов отношений с жизнью. Отношений, в которые он вступает с другими, то есть внешних и открытых. И отношений, что он ведет и поддерживает с самим собой. То есть отношений внутренних, сокровенных. Так, странничество Пушкина — это зачастую влечение страсти, страсти по жизни или движение неудержимое, как внутрь, так и во вне; зачастую стремление страдающего ума, озабоченного поисками места, где «есть покой и воля» (правда, Болдино все же случилось). И уж совсем нередко — странничество подневольное.

Странничество Толстого по преимуществу и прежде всего внутреннее, каждый миг полное неутомимых блужданий в поисках себя истинного, поиска истины жизни и осмысленного ответа на единственно важный вопрос «Зачем?». Оттого и дневник его — это дневник жизни на глубине, выпытывание и испытание себя, самоисповедь, неустанная в правде самопризнаний. Исповедь глубинного духовного пребывания, что, не скудея в полноте, длилась в течении десятилетий. Десятилетий, прошедших через несколько «полных поворотов кругом». Дневник же Пушкина — это — обыкновенно — странствие по случаю: мысли ли, пришедшей нечаянно, впечатление ли от прочитанного или внезапный толчок события. И менее всего зеркало, отражающее тщательное, подробное и неспешное вглядывание в жизнь собственного «внутреннего человека» (хотя стоит сказать, что некоторые бумаги — а в их числе и многие последовательные страницы дневника — были им сожжены после декабристского восстания). А потому в числе иных важнейших причин, таких, как изгибы судьбы или парадокс между темпераментом и воспитанием, поединок между даром и бытом, между «и жить торопится, и чувствовать спешит» и плодотворным деревенским одиночеством, в перечне этих причин и необходимость спешки дневниковых записей. Ибо сохранившийся дневник его краток, бегл и отрывочен. И в явлении такой самобыт-

ной жанровой образности сродни стихотворству: что не случилось в стихах, статьях или письмах, становится дневниковой записью.

Иное дело дневник Кюхельбекера (в первой печатной редакции условно разделенный на две части — «Дневник узника» и «Дневник поселенца») — исповедь, роман интеллектуальной жизни, разговор с самим собой в полном одиночестве. Дневник непохожего и, несмотря на искреннюю, порой большого сердца, приязнь и понимание нескольких близких друзей, внешне и внутренне одинокого человека-поэта. Одинокого еще и в том печальном смысле, в каком он сродни настрою и смыслу одной из позднейших дневниковых записей Толстого: «Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть». Именно в этих двух неравновеликих (что знаменательно!) частях дневника Кюхельбекера глубоко и основательно (хотя и противоречиво) залегает «тема (или в случае резко своеобразного его автора все же проблема?) ухода».

Намечая иной поворот этой проблемы, причислим к постигнутым ею еще двух авторов и их героев: Лермонтова с его Печориным и Гончарова с Обломовым. И кажется, что как писатели, так и герои — притом каждый из них наособицу — люди по своему неместные, несвоевременные, «столкнутые», люди «не на своем месте» (определение Шкловского), где «внутренний» и «внешний» человек обречены не только на несогласованность, но и на несогласие и где «тема ухода» неразрешима смирением. И у всякого «сюжет ухода» превращается сперва в духовно беспокойную тему странствования, представая в итоге проблемой неутолимого стремления в побег (или — бегство?). Стремления ли в покой и одиночество? Или... в гибель? Печорин в Персию, Обломов на Выборгскую сторону, Лермонтов на Кавказ, Гончаров в затворничество на Моховой. Печорин, странствуя в мире, странствует внутри себя. Однако странствие это все больше и все настойчивей сначала лишь напоминает, а после и превращается в побег от самого себя, оборачиваясь сначала трагической жестокостью по отношению к миру и к женщине, а после и гибелью в чужой земле. По существу, то же у Толстого (чужая пустынь), то же у Обломова (чужая Выборгская сторона), то же у Пушкина (чужая Черная речка). Таковы итоги той мучительной мысли о свободе и покое в духе, что постепенно развивалась у Толстого в «сюжет ухода»; или верности «внутреннему человеку», как у Обломова; или отчаяния и тоски по потерянному «пути жизни», как у Пушкина; или, наконец, невыносимости быта и бытия, как у Кюхельбекера.

С какой мерой убежденности, читая Пушкина и Толстого, зная письма, дневники и жесткую (у каждого по-своему) ткань их судьбы, допустить такое толкование? Уместно и возможно ли? И кажется, что возможно. Ибо речь в их случае идет не только об отстаивании себя в духе ли, чести или в подлинности самосознания, а об особом состоянии. Иными словами, об изначальном экзистенциальном одиночестве. Так если основательно предположить, что Пушкин за свою короткую жизнь создал, совершил и основал не многое из возможного, а возможное все, то вся эта его многоликая деятельность — суть порождение круга внутреннего одиночества. Где одинокое же творчество преобладало во всех проявлениях «внутреннего человека» и где, кроме творчества, не было ничего иного. Однако выйдя в 1831 году из прежнего «круга бытия», где «счастья нет, но есть покой и воля» и где как раз именно «покой и воля» преобладали, он нарушил порядок воплощения идеи «путь жизни». Тот порядок, который складывался и длился лишь вслед деятельным чувствам и свободной мысли «внутреннего человека» — вольно, одиноко и плодотворно.

Попытаемся развернуть это предположение в сторону психологических особенностей каждого из героев статьи «Творить жизнь» и других, уже названных; понять смысл и логику их движения по пути жизни. Пути, что выбирают они волею ума и духа — вслед идее; или своевольно — вслед стихии дара и души. И здесь обращает на себя внимание подспудно звучащая в статье интонация эмоционального понимания и интеллектуального сочувствия автора своим героям. Смысл ее, как кажется, в правди-

вом сознании того, что труд душевного выбора и трудности духовного пути осложнены вняттым — и непреходящим — чувством вины. Как для Пушкина и Толстого, так и для двух других персонажей наших рассуждений. Тем событием душевной рефлексии, что в древнегреческом языке мысли заключено в понятии «причинение». Понятии зоркого психологического смысла и широкого социально-философского применения. А поняв это, кажется естественным предположить, что еще один смысл «освобождения Толстого» — это освобождение от вины перед домашними, в неладах с которыми его «внешний человек» числил себя невиновным. Иным словом, это своеобразно «внутреннее», этически совестное осуждение за вину, при том, что внешне он полно, необратимо и убежденно обосновал собственную духовную правоту.

Так, у Толстого событие вины «внутреннего человека» продолжает свое развитие, начавшись в «Утре помещика», в письмах и дневнике сороковых—пятидесятых годов задолго до духовного и житейского разрыва с домашними и властью. Вопреки уже позднему, провозглашенному в названии незавершенного сочинения «Нет в мире виноватых». Сочинению из нескольких разнородных эпизодов, ни в одном из которых проступки не осуждаются и предлагаются к созерцательному пониманию природы человека. Ибо чувство вины его «внутреннего человека» подвижно и способно к перерождению, но психологически неизбежно. У позднего Толстого видимое непонимание и раздражение домашними замешено на невидимой, но саднящей вине перед ними. Напомню вновь: «Как трудно, когда полагаешь все беды вне себя, и как легко, когда поймешь, что все в тебе»¹⁷. И оно же, это чувство, оборачивается виной перед крестьянами. Виной, родившейся как откровение, чтобы после обратиться почтением перед логикой образа их мыслечувства. И постепенно — от все более растущей роли миропонимания и образа жизни Левина — воплотившееся в признание верности крестьянского круга жизни и подражание крестьянской этике. Стоит попутно вспомнить Фолкнера: «...и если возраст чему учит, так это не бояться и уж меньше всего докапываться до правды, но только стыдиться». Другой писатель, другое время, другой стиль. Однако замечание правдиво на все времена.

Наиболее напряженный труд совести у Пушкина начинает свой путь, двигаясь от обостренного чувства вины, что глубоко залегает уже в исповедном и трагически покаянном «Воспоминании» 1828 года, чтобы воскликнуть в 1834-м: «Пора, мой друг, пора» — и прийти наконец, прийти к внятному сознанию вины в отрывке «Напрасно я бегу к сионским высотам...». На это ему понадобились восемь лет жизни и несколько предсмертных минут. Минут, что замкнули путь последним совестным покаянием. Так, в рукописи «Воспоминания» порыв к покаянию особенно заметен в стремительной силе окончания стихотворения. «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, / В безумстве гибельной свободы, / В неволе, бедности, изгнании, в степях / Мои утраченные годы. <...> И нет отрады мне — и тихо предо мной / Встают два призрака молодые, / Две тени милые, — два данные судьбой / Мне ангела во дни былые; / Но оба с крыльями и с пламенным мечом. / И стерегут... и мстят мне оба. / И оба говорят мне мертвым языком / О тайнах счастья и гроба».

И здесь сходятся итоги «сюжета ухода» у Пушкина и у Толстого. Итог намерения ухода, его почти удавшегося свершения и события смерти Толстого с завершением и воплощением черного плана стихотворения Пушкина «Пора, мой друг, пора»: «...религия, смерть». С четкостью мотива черновой рукописи «Воспоминания», что совпадают в сознании вины перед жизнью и грехом перед Богом в отрывке «Напрасно я бегу...». Сходны эти сюжеты и в событии «воли к смерти», несмотря на разительное несхожий их исход.

¹⁷ Л. Н. Толстой. Юбилейное собрание сочинений. Листы из записной книжки 1908 года. Т. 90. С. 211.